

Его звали Ваня Майма. Прозвище добавили из-за большого косноязычия, если не немоты. Видимо, маленьким на вопросы взрослых бубнил только одно: «Май-ма...».

В роду моего героя были одни Ивановы Петровичи и Петры Ивановичи, и очередной Иван назвался «Майма». Почему он до такой степени «скартавил»?

Ваня Майма родился примерно в 1920 году. Я же узнал его «близко» в 1960-е, когда стал дружить с его сыном Петькой. В их избе над столом висела большая фотография начала века, с тремя рядами гвардейцев, рука каждого на эфесе, в середине офицер с эполетами. Третий слева от офицера – Петькин дед, отец Вани Маймы, Пётр Иванович. На этом «за здравие» кончается, начинается «за упокой». Этот бравый Пётр Иванович «нацеплял» в «петербургах и европах» невесть что, и сын Ваня родился страшно косноязычным, а его брат – вовсе слепым. Так платит народ за «большую политику».

Гвардеец Пётр Иванович умер рано, ибо я помню только бабушку Степаниду и её вкуснейшие «луковики» (тёмные, из

ржаной муки пирожки с луковым пером). Но главное, что «застряло» – как ни прибегу к Петьке – застаю бабу Степаниду перебирающей крупу, а на челе – тень тайны и задумчивости. Мои родители не были болтливы при детях, и эта «тайна» открылась мне только на третьем десятке лет.

Пришло время, и Иван женился. То ли невестка не могла долго понести, то ли Степанида боялась «худого» потомства, – она решилась и повелела снохе по субботам ходить в баню к мужику Дмитрию. Баня у Дмитрия была в огороде, далеко за домом, а жена или не знала, или «знала своё место», и вскоре дитя было зачато. Знал ли сам Иван? Очень возможно, что нет. Петька родился «литой и капанный» Дмитрий. Так его и дразнили сверстники, при случае: «Митя! Митя!..» Неприятно ведь?.. Поэтому, когда бабу Степанида сортировала на столешнице крупу и смахивала что-то в фартук, вид её был и таинственен, и задумчив.

В детстве Петька чувствовал свою непонятную «ущербность», а я всегда с умным видом успокаивал, мол, бывают удивительные похожести, и показывал на что-нибудь. Ни за что не поверил бы, что Петька и Иван Майма не родные. Они любили друг друга, по-мужски заботились...

У Вани Маймы был свой «словарь»: туда – «тот бок»; есть (кушать) – «на исть» («на» он приставлял почти к каждому «слову» как артикль); любое действие – «найе»: идти или пошёл – «алё»; вино – «ноно»; подружка, зазноба – «малинка»; вместе – «мисте»; хлеб – «еб»... Помню, несколько недель Петька учил отца говорить «хлеб» – и научил! Дальше не продолжил. Вот как пел Ваня Майма свою единственную частушку: «Пить ноно, на исть на рыба – И малинка мисте тут!..»

В деревне Ваня Майма был за Тургеневского Герасима: тоже запросто поднимал и выталкивал застрявшую телегу. К тому же он «специализировался» на «объезде» молодых лошадей.

Происходило это так: кобылку или жеребчика двух годов запрягали в тяжёлую, так называемую «широкую» телегу, люди в деревне предупреждались и «прятались». Иван садился на телегу: одна нога на платформе, вторая свисает, руки крепко держат вожжи. Бьющую испуганную (впервые запряжённую) лошадь с телегой выпускали из ворот конного двора, она неслась по пустой улице, потом нужно было поворачивать налево, самое опасное место, но там «не хватало одного дома», поворот получался плавным. После поворота к концу этой второй улицы запыхавшаяся лошадь переходила на шаг. На конный двор она возвращалась уже «спокойной», настороженно косясь в стороны. А Ваня Майма громко приговаривал: «Лёгко! Лёгко! Лёгко!..» Что значило: всё. Легче ты! Тихо!..

В деревне делали водопровод в одном месте. Ваня Майма, идя в августовской темени с фермы, чуть отклонился от обычного маршрута и угодил. Он никак не мог выйти из траншеи, ибо и выхода-то никакого не было: начало обрывом, конец обрывом, ответвления обрывом. В конце концов Иван выбрался как-то, а утром жаловался мужикам:

– Найе это... Вчера... Бах – яма!.. Алё тот бок – стенка! Алё другой – стенка! Найе час ноги! ...мать!!!

У Вани Маймы был отменный самосад, и мы с Петькой (очередным Петром Иванычем!) брали с полатей, из ящика, по горсти, в кулёчки, и курили. Не подумайте, что время было махорочно-дремучее. Куривали мы и болгарские с фильтром, у Петьки был транзистор, и по воскресеньям, прямо на солнечном морозе, у сельмага мы громко «слушали» «Королеву красоты» Магомаева... И здесь я должен опять вернуться к мистическому образу «перебирающей крупу». И «тайну» тоже открою сразу.

Лето. Я пойду в седьмой, Петька в восьмой. Школа была в соседнем селе. Одноклассниц я едва знал по имени, мне

девчонок хватало и в своей деревне – для игр и общего наблюдения. Но в классе в меня влюбилась одна (назову её N), и случилось целое нагромождение событий, целая гора, «куча крупы»...

В эту N влюбился Петька и попросил познакомить. Я подал N записку: «С тобой хочет познакомиться один парень». Очень вероятно, что она радостно подумала, что этот парень – я. Ведь так и пишут любовные записки. Но вечером у клуба она удивлёнными глазами провожала меня, когда я оставил её и Петьку одних и заспешил домой. И всё-таки она как бы побыла со мной на свидании. Какие только колена не выкидывает жизнь!.. Я был связным, был общим другом, и за эту толику моего общения с N она платила «гулянием» с Петькой, которое – жизнь берёт своё – через год-два привело на сеновал, потом в роддом... Она – влипла, Петька – влип, а вскоре влип и я.

Их сыну было год, когда Петьку забрали в армию. Я получил наказ помогать, тем более что «солдатка» с дитём жила в одноэтажном бараке с печным отоплением. Полгода я избегал N, предчувствуя что-то нежелательное; иногда подсаживал с сынишкой в вагон, когда ехали в воскресенье вечером в город, а сам спешил в кампанию, к девчонкам... Но однажды с ней было много сумок, и в городе я проводил её до дома и остался ночевать (на одной койке с её братом). Утром брат убежал на работу, а мы два часа лежали без единого шороха, изображая спящих на прежних местах... О эта «внутренняя борьба», помню, помню. N стала моей первой женщиной. Через трое суток я оставил сей вертеп, совершенно опустошённый физически и морально. Наши встречи повторялись. Она поведала мне (и это было для меня неожиданностью), что любит меня с шестого класса, что дружба и семья с Петькой – всё только

из-за меня и ради меня, что каждый день и каждую ночь она была со мной, и вот она действительно со мной. Играет пластинка, N, с бокалом в руке, кружится, звонко, счастливо смеётся, я «заражаюсь», обнимаю, раздеваю зубами, танцуем голыми, пьём, падаем в постель. Как она была счастлива!..

Однажды неожиданно приехала Петькина мать. N долго не открывала, мол, куда-то запихала ключи. Прятаться в подполе я отказался. В окно не выскочишь, ибо двойные рамы уклеены по-зимнему. В шкаф! Я уселся там на ползучую кучу разного, ногтями притягивая дверки. Открылась входная дверь, шаги, и «мои» дверки тоже открылись. Я вывалился на пол и притворился мёртвым. «Что ты лежишь? Вставай! Я отправила её в магазин...». N велела мне одеться, выйти и быстро зайти к соседке и там ждать «указаний». Минута – и я у соседки, на табуреточке, а соседка, женщина лет сорокапятидесяти, за кухонным столом... молча перебирает крупу! Она не смотрела на меня, разве что только «боковым зрением». Она смотрела на крупу. Я был там, в ней, частичкой, может – годной, может – нет... Я почувствовал, что не первый «спасаюсь» здесь, и мне стало жалко N. Но вот она забежала и проинструктировала, как покинуть двор. Я вышел, на согнутых ногах проковылял под окнами к воротам. У барака, напротив, сидели три женщины, бросили на полуползущего меня равнодушные взгляды. Экая невидаль!..

Началась моя служба. Петьке обо всём рассказали, он написал мне, даже послал фото: он в морском бушлате и в бескозырке. Сказал, что постоит за свою любовь... Я ответил (раз уж «детали» известны) кратко, что уже написал N, чтобы ждала в любом случае мужа, что я не сделаю ни шага поперёк... Я и правда уже написал ей, что она «шьёт мне тесные рубашки», что не брошу её – если только Петька с ней разведётся. Петька пришёл домой, и они снова стали жить

вместе. Так это звучит словами. С самого начала их «брака» деревенские заметили, что со станции Петька обычно идёт впереди, а она – за ним. Значит, она не любит. А теперь и вовсе она ходила за ним, как на аркане, глаза в землю, он с ребёнком на руках и тёмным лицом – впереди, как усталый буксир. Когда я вернулся из армии, они не только разошлись, но уже она вышла замуж, а он опять женился. Тут же женился и я на своей техникумовской «знакомой».

С ней мы переписывались два года, не надеясь на встречу, желая друг другу счастливого будущего, вспоминали. К ней сватались разные красавцы и состоятельные молодые мужики, но она (как призналась потом) говорила себе: «не моё!». Она тоже «перебирала крупу». Когда я отслужил, она в «последнем» письме поделилась, что, наверно, всё-таки придётся выходить замуж... Мы съехались через пару дней из разных городов, я привёз её домой к родителям и объявил невестой, невеста очень удивилась. А чему? Она ведь уже «перебрала крупу»: я просто «годное» помог смахнуть к ней в фартук...

Тогда, в армии, в Мурманске, Петька заправлял подлодки. Он умер в двадцать три от белокровия... Его деда Петра Ивановича «зацепила» «большая политика», и последнего в их роду Петра Ивановича, кудрявого, любящего лыжи и велосипеда, научившего своего отца, Ивана Майму, производить правильно «хлеб», не пожалела жизнь и её «большая политика». Его похоронили рядом с тёзкой-дедом и бабкой Степанидой, а одиноких Ваню Майму с женой закопали потом по очереди на другом кладбище. Как-то так вышло. А у меня перед глазами часто «всплывает» бабушка Степанида, перебирающая под фотографией с гвардейцами крупу, с тайной и задумчивостью на челе, смахивающая на свой фартук плевелы, а может, зёрна, не помню... У Петьки осталось по сыну от первой и второй жён, это были уже не Петры и не Иваны.